

До сих пор приходят письма с Алтая, фотографии, открытки, добрые слова — «...как жаль, что не получилось угостить вас алтайскими помидорами!»



текст **Владислав ПОПОВ**

## Туда проложена сердцу дорожка

Память — самое дорогое, что есть у человека, и нам все эти дни хорошо и радостно: в нашем сердце живет Алтай, в наших словах оживает Алтай, когда мы рассказываем друзьям и близким о нашей нечаянной поездке, об его искренних и сердечных людях, его бескрайних полях, о реке Катунь, о синих горных вершинах, на которые мы посмотрели только издали.

Помним, как мы ехали в Калманку. Час целый. И целый час слева и справа тянулись бесконечные, исчезающие за горизонтом поля: желтые, зеленые, белые, будто слегка припорошенные снегом. И всю дорогу, не уставая, мы смотрели на них и все наглядеться не могли, насытиться — поля, живые, добрые! Столько сил, времени, труда, заботы неустанной и любви в эту землю вложено. «Как счастливы люди, живущие здесь, — думали мы, — но, может быть, они не понимают, не осознают, как мы сейчас, такого счастья?»

И горько было за наш Север бедный — все, что отвоевано было дедами нашими от тайги и болот, все запотягивало лесом. Навырастали сосенки в рост человечий, а то и повыше, бредешь новым лесом, перешагиваешь через оплывшие борозденки, одна, вторая, третья — без счета! Через весь зановорожденный лес борозды и межи тянутся, словно гребнем кто прочесал землю...

Добредешь до прясел, подопрешь плечом, вспомнишь, как на этих пряслах еще 40 лет назад тетка Валентина свое жито сушила. Я вот помню, и другой еще кто-то помнит, а после нас и некому вспомнить. Нет больше Валентины, заросло ее поле. Но упрямо стоят ее листовничные прясла, обросли лишайником, вросли в суглинок.

Бежит навстречу дорога, через сердце проходит. Висят над дорогой белые алтайские облака, раскрылись невозмутимые алтайские коршуны. Где Калманка? Долго ли до нее ехать?

Встретил нас Председатель. Уж по-другому-то и назвать его не могу, и не хочу. Высокий, статный, широкоплечий. Голос просторный. Взгляд чистый. И вот что хорошо — легко с ним, будто сто лет знали

до нашей негаданной встречи. Сели чай пить, а он — самозабвенно! — про поля свои говорить начал, гордо, просто и радостно. «Сахарной свеклы побольше, чем на Краснодаре вырастили! А еще зернобобовые и зерновые есть! И подсолнечник выращиваем, и рапс, и сою, и гречиху, конечно. Видели наши гречишные поля? За горизонт уходят! А сыр наш пробовали? Наш сыр всем сырам в России голова!»

— Ах, — думаю, — вот он, счастливый человек! Вот они какие счастливые и разумные люди! Всё знают, во всё входят и про всё ведают! И сила-то их в труде и в разуме.

В библиотеке Калманской, где рассказ свой читал и стихи, книгу увидел, шукшинскую, Василия Макаровича, в таком тканевом переплете соломенного цвета. И у меня точно такая же на полке стоит!

— Здравствуй, Василий Макарович!

Не удержался, схватил книгу, прижал к груди и говорю:

— И у меня дома такая же есть! — вот как обрадовался, будто родного человека нечаянно встретил.

Вот этой самой книгой и вошел в мою жизнь Василий Макарович Шукшин. Тут, пожалуй, и рассказать надо.

Я тогда в классе шестом или седьмом учился. Пришла домой мама, сказала, что Шукшина пообещали в книжном магазине, если за неделю сто календариков карманных распространим за денежку. Ну и взялись мы за это дело! Я многим ребятам с Поморской улицы за копейку наши календарики напродавал. Сложила мама копейки в бумажный кулечек и в магазин снесла. Вернулась веселая с толстой книгой. Бабушка, по обыкновению, собрала всех соседей на нашей коммунальной кухне, водрузила на нос очки и читать начала с самого начала. А я подле с другом — тоже интересно!

Какие это были хорошие вечера. И показалось мне тогда, что герои шукшинских рассказов и вокруг нас живут. Точно такие же. И в нашем дворе, и в соседнем тоже. Взять хотя бы Фёдора! Чем не герой шукшинского рассказа?

Я помню, как в начале каждого месяца Фёдор был — как-то по-особенному! — грустен и задумчив, лился на кухне отрывной календарь, выискивая, кому из членов Политбюро выпадал на сей месяц день рождения. Вычитав радостное оповещение, за день до знаменательной даты он тщательно брился, повязывал черный шелковый галстук, надевал выходное пальто, фетровую шляпу с кожаной ленточкой и шел пешком на главпочтамт отбивать поздравительную телеграмму: «Москва, Кремль...» Так он поздравлял Сулова, Громыко, Косыгина и прочих, прочих... И ждал нетерпеливо ответа. Сидел напряженно у коридорного окна, курил папироску, следил, как вился дым к потолку перевитой стружкой. День-два, приходил ответ. Неизменный денежный перевод, а в приложенном сообщении слова благодарности. От Сулова дядя Фёдор получил пять рублей, от Громыко — все пятнадцать! А от других уж и не помню...

— Шура! — кричал он обрадованно жене. — Смотри, как меня в Кремле ценят и знают! Пятнадцать рублей! — и ходил везде за ней, как голубь за голубкой, наливаясь гордостью и счастьем. А к вечеру бежал за бутылкой.

Бабушка не верила — что, еще раз? — и требовала бланк перевода. Его читали всей коммунальной квартирой, передавая, как реликвию, из рук в руки, и удивленно смотрели на сияющего Фёдора...

Калманские жители спрашивают меня про Север, про школу, где я служил учителем, про стихи мои спрашивают и рассказы. И наш путеводитель Галя Батюк ведет беседу, дирижирует. Такая умница!

Стремительно время. Опомниться не успели, а уж Бийск и Шукшинка. И встревоженный, очарованный, полоненный новым и радостным, в гулком деревянном зале, где и яблоку негде упасть, — столько пришло людей! — я говорю о первых, прочтенных мною шукшинских рассказах, о моем Фёдоре вспоминаю, о полях бескрайних, что увидал вчера, и вижу, как Анатолий Кирилин кивает головой: хорошо.

На другой день с нетерпением ждали поездки в Сростки, на родину Шукшина. Нежданно-негаданно сбылась моя мечта.

И когда бродил удивленный по тихим сростским закоулкам, все будто узнавалось. Вот она, та самая крапива в рост человеческий, чуть тронул, и ожгла тотчас. Октябрина Ивановна Степаненко, наш заботливый куратор, ведет к Катунь. Бежит, торопится Катунь, моет пески и камешки. Плетни, домики с цветными ставнями. Хотя вот дома мне другими представлялись: думал, как у нас на Севере, огромные, ширококрылые, поветы гулкие, крыши раскатыстые. А тут избы крошечные, в три-четыре оконца, и тесно в них, и грустно.

Зашли в домик Шукшина — и сжалось сердце. Тут же рассказ вспомнился «Гоголь и Райка». Здесь, здесь на этой русской печке — обширной, в детстве все кажется большим! — читались маме и Тае восторженным мальчишеским голосом со жгучим наслаждением хорошие, добрые книжки. Здесь зажигалась для чтения керосиновая лампа. И удивлялась мама: «Ах, ты, Господи! Гляди-ка! Вот ведь чего на свете бывает!» И маленький чтец чуть не стонал от счастья...

И швейную машинку мы встретили. И сердцем увидели и будто бы и въяве, как стоит Васенька посреди комнаты, как клеенчатый сантиметр холодит его грудь и шею, и теплые мамыны руки поворачивают Васеньку к свету: постой немножко, не шевелись!

Я сел на сундук и ждал, когда выйдут все гости из комнаты. Вышли, и так тихо и светло стало. И хорошо. И словно стрекочет в углу машинка швейная — пойдет завтра в школу Васенька в новой рубашке.

Как близко всё и как далеко. Как кровеносна память человеческая, чуть тронешь, и ожжет крапивой, засвербит, заночует.

Вот здесь жил Василий Макарович, бродил когда-то по родным закоулкам, писал в прохладной белёной горенке свои рассказы, в это окно глядел, отлучившись от работы, курил трескучую папироску. Теперь я, зашедший сюда ненадолго, гляжу в то же окно, и словно его, хозяина, рядом незримого чувствую...

И вся эта ярмарка близкая, законная, песни, гамон, гармони, ряды торговые с пирогами, медом и сбитнями, лентами и прялками — все ушло, отодвинулось, другое осталось, главное, за чем ехал и что искал. Тишину старого дома, задумчивость его комнат, молчание фотографий настенных...

Думали, много дней у нас, а промчались дни, как один день, пестрый и радостный. Бродили по горе Пикет, глядели заманчиво в дали. Земля была горячей. Травой сухой под ногами шуршала. Василий Макарович сидел молча на камне, смотрел с вершины на родное село, на вечернее солнце.

Моя жена поодаль ходила и каждой травке радовалась. И все теребила вопросами: «А это что? А эта как называется?» И обрадовалась по-детски, увидев мальву: «Так просто, сама по себе, на склоне растет, а у нас возле дома такая же, на грядке в заботе человеческой... Сфотографируй меня с ней!»

Уезжали. Ходил ветер. Пыль закручивалась. Пела грустную песню Визбор. А я все оглядывался из машины: свидимся ли еще раз, Василий Макарович?

Завернули к Катунь. Бежит стремительная. Мыли в Катунь камешки гладкие — домой в Покшеньгу на память увезем.

Губернатор Виктор Томенко ходил по берегу в белой рубашке. На лице свет речной вспыхивал. Раскланялись. Смущаясь, спрашиваю: «А вправду ли, слухами земля кормится, всего «Евгения Онегина» на память знаете?» Смеется задорно, блестит глазами.

— Знал. Да, может, и позабывать стал. Повторять надо.

Говорили о многом. И просто, и хорошо было в разговоре. И не верилось, что утром ранним унесет самолет нас от Катунь быстрой, от добрых людей, нами встреченных...

На аэродром мчались, дождевыми хлопьями в стекло било. Сверкало где-то за городом, гремело глухо. А над взлетным полем раздернулось небо. Синее, спокойное. «Летите, все хорошо!» — говорит Анна Самойлова.

Взлетели, и пока не ушли в даль беспредельную, все тянулись под крылом поля бессчетные. Дремал Алтай в утреннем солнце.

Я уснул, а жена все в иллюминатор глядела, на поля, на степи, на реки неизвестные, Уральских гор дождалась, озер круглых, а потом и сама уснула до Москвы самой.

Теперь я дома. Шелестит за избой сиреневый иван-чай. Синей, прозрачной водой светится река Покшеньга. Я стою на своем угоре, гляжу за древнюю Хид-гору: в той стороне лежит алтайская земля, в ту сторону летит сейчас ветер, туда проложена сердцу дорожка. ■